

Ореховый Будда

Автор:

[Борис Акунин](#)

Ореховый Будда

Борис Акунин

История Российского государства в повестях и романах #5

Роман «Ореховый Будда» описывает приключения священной статуэтки, которая по воле случая совершила длинное путешествие из далекой Японии в не менее далекую Московию. Будда странствует по взбудораженной петровскими потрясениями Руси, освещая души светом сатори и помогая путникам найти дорогу к себе...

Борис Акунин

Ореховый Будда

© В. Акунин, автор, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Часть первая

Потерять

Марта «Пороховой Погреб»

Амстердам. 1698 г.

Был у Марты когда-то клиент, пушкарь с ост-индского барка. Так, ничего интересного, обычный кобель из тех, кого портовые шлюхи называют «недельными господами», потому что, вернувшись в порт, моряки широко гуляют и спускают все свое многомесячное жалованье за неделю. Единственно, пушкарь был остёр на язык и дал подружке прозвище, которое прилипло: Крюйт-камера. Во-первых, из-за волос, похожих на языки яркого пламени, – таких же задорно-оранжевых, как королевское знамя. Марта любила сооружать замысловатые прически: будто у нее на голове костер или ворох осенних листьев. А во-вторых, из-за темперамента. Так-то она была тихая, вся в себе, но если в глубоко упрятанную душу попадет искра – взрывалась так, что себя не помнила и о последствиях не думала. Редко, но случалось.

Вот и сейчас рвануло – когда Свинячья Морда ляпнул про Шпинхаус и Насосный Подвал. Полыхнуло в груди, потемнело в глазах – и каак шандарахнет!

Это потому что Марта уже пришла к гаду сама не своя, с мокрыми глазами и в тряске.

Пила дома кофе, думала про Родье, а тут от него записка из гостиницы «Кабанья голова», где живут русские. Мальчишка-рассыльный принес. Марта улыбнулась, развернула, стала читать – чашка полетела на пол.

Родье сообщал, что Царь-Петер уплывает в Англию, берет с собою очень немногих, в том числе и его. Это великая честь, только горько расставаться с мефрау Крюйткамер (он думал, у нее такая фамилия). Сам он за предотъездными хлопотами отлучиться из гостиницы не может, но будет счастлив, если благородная госпожа найдет время сделать ему прощальный

визит, а он сказал бы ей нечто очень важное.

Не обращая внимания на забрызганное горячей коричневой жидкостью платье (хотя оно, красивое и дорогое, было безнадежно испорчено), Марта сидела и редела, как последняя дура. Она, конечно, знала, что однажды все закончится, но старалась об этом не думать, как люди живут себе и не думают о неизбежной смерти. А та в конце концов обязательно приходит.

Три с половиной месяца Марта будто по облакам порхала, почти не касаясь грязной земли. «Почти» – потому что служба есть служба и к Свинячьей Морде по воскресеньям таскаться все же приходилось, но это ладно.

В своей жизненной карьере Марта достигла хорошего положения, ей многие завидовали. Довольно вспомнить, с чего начинала. Как ее, четырнадцатилетнюю деревенскую простушку, выгнали из служанок взашей с растущим пузом; как чуть не подохла от вытравленного плода; как потом зарабатывала на кусок хлеба по портовым притонам и мечтала о незаплатанной юбке. А теперь? Поднялась до салет-йофер, «салонной барышни», которая чисто живет, модно одевается и имеет солидного покровителя.

И что после того случая не может понести – тоже удобство. Само собой, иногда бывает страшно, что лет через пять состаришься и будешь доживать одна-одинешенька, никому не нужная, однако это когда еще будет, и к тому же Марта, в отличие от других куриц-баб, умела копить деньги, а херр Ван Ауторн (Свинячьей Мордой она называла его только когда злилась) научил вкладывать их в облигации Ост-Индской компании. Триста сорок гульденов уже трудятся там, приносят восемнадцать процентов годовых. А будет больше.

В общем-то повезло с покровителем, грех жаловаться. Старая подруга Фимке по прозвищу Фрисеку, Фризская Корова, сильно Марту ревновала. Фимке была в хорошем теле (потому и «корова»), но по-коровьи же и тупая, да еще с неистребимым северным говором (потому и «фризская»). Когда-то они вместе работали в музико, музыкальном салоне, где мужчины танцуют с красивыми девушками, а при желании ведут их наверх, но с тех пор пути у товарок

разошлись. Марта пошла вверх – попала на содержание к господину Ван Ауторну, а Фимке Фрисеку в салоне не удержалась, скатилась в «трактирные». Очень из-за этого переживала и дулась на Марту, будто та виновата.

А прошлой осенью, в конце сентября, вдруг заявила гордая, в новом чепце с лентами, и говорит: «Ты всего лишь содержанка у одного из шестидесяти бевиндхебберов Компании, а я любовница московитского императора Царь-Петера! Гляди, какой чепец я себе купила, шелковый! И это только начало». Оказалось, что в своем шпилхаузене, где пьют после работы мастера с верфи, она попала на глаза полоумному русскому королю, про которого тогда судачил весь Амстердам, и царь прельстился ее коровьими статями.

Марта, конечно, говорит: «Врешь!». Но Фимке ей: «А хочешь, покажу тебе моего Петера? Он и его свита каждый вечер у нас в “Якоре” сидят».

Разумеется, Марта видала русского царя и прежде, когда он еще только перебрался из Заандама в оостенбургские доки. Тогда все ходили поглазеть на этокое диво: помазанник божий, властитель пусть дикарской, но великой державы работает на корабельной верфи плотником!

Ну, посмотрела. Несуразно тощий парень с неестественно узким телом и маленькой головкой, с длиннющими ногами и крошечными ступнями суетился, бегал, брался то за одно дело, то за другое и ничего не доводил до конца. Будь это обычный человек, такого плотника давно выгнали бы взащей.

В другой раз видала, как царь ставит мачту на бопере (говорили, какой-то хитрец слупил с московита за маленькую лодку двести гульденов) и неловко маневрирует под ветром близ Восточных островов. Все смеялись: не король, а бедный лодочник, и страна у него, должно быть, такая же нищая.

Но это было до того, как царь подарил городу Амстердаму великолепный фейерверк, а потом Марта видала из толпы на площади Дам пышный поезд русских послов, следовавший в ратушу. Ах, какие у них были наряды – сплошь золотая и серебряная парча! А драгоценные сабли! А лошади с упряжью в самоцветах!

И все стали говорить, что Царь-Петер – как калиф из арабской сказки. Такой богатый, что ему незачем пускать пыль в глаза. Потом люди привыкли и только

хвастались приедем: «А у нас на Оостенбургском канале русский царь плотником работает. Хотите посмотреть?»

Но одно дело пялиться издали, и совсем другое – поглядеть на августейшую особу вблизи.

«Ой, пойдём, пойдём, ну пожалуйста!» – стала Марта упрашивать. Корова немного покобенилась и взяла. Понятно почему: хотела показать русским, какая нарядная у нее подруга, настоящая *dame*.

По дороге Марта расспросила про постельные повадки московитского короля. «А, ничего особенного. Обычный торопыга, – сказала Фимке. – Помнишь Клауса Гессенца? Такой же. Кидается, чуть не зубами грызет, а через минуту уже храпит. Да какая разница? Зато я теперь августейшая мэтрессе. Видишь синяки на шее? Это след пальцев царского величества».

Марта слушала, люто завидовала. Думала: увести Царь-Петера у Фимке будет нетрудно. Достаточно ему увидеть их рядом, ее и Корову. Разделась Марта во все самое лучшее: платье китайского шелка в розово-черную полоску (очень бонтонное, безо всякой крикливости), переливчатая муслиновая шаль, сатиновые башмачки, куафюра «раскрытый апельсин» и почти никакой косметики – это чтоб отличаться от размалеванной Фимке. Корова сказала: «Ты моя молочная сестра, поняла?»

Таверна «Якорь» была самая простецкая. Посетители здесь пили пиво, а ели белехте-бротье – срезали с окороков, что свисали прямо с потолка, ломти ветчины да клали на хлеб с маслом, обычная жратва для работяг с верфей. Но угловой стол, к которому Фимке повела подругу, был весь уставлен бутылками и снедью. Из большого горшка несло чесночищем, там желтел густой гороховый суп, на блюде дымилась жареная свинина с черносливом, на другом – рубленый язык, да пол-головы сыра, да кровяная колбаса, еще дыня, виноград, засахаренные фрукты. А компания, угощавшаяся всеми этими яствами, по виду и платью ничем не отличалась от тех, что сидели за другими столами. Заляпаные смолой и дегтем куртки, засученные рукава, дымящие глиняные трубки. Поглядеть – и не догадаешься, что московиты. Ни меховых шапок, ни кафтанов с золотыми шнурами, какие Марта видела у царских послов. Не было и их долговязого короля. Сидели четверо каких-то парней, все молодые.

– Оо, Фимка! – заорал один, разбитной, с подкрученными усами и звонко шлепнул Корову по заду. – Давай, садись к нам!

Похоже, королевская мэтрессе особенным почтением тут не пользуется, насмешливо подумала Марта.

Покосившись на нее, Фимке спросила:

– А где Петер?

– Черт знает. Может, придет. Может, нет.

Русский говорил по-голландски нечисто, но бойко.

– Это мефрау Крүйткамер, моя подруга. Приличная девушка, из хорошей семьи. Моя матушка была у нее кормилицей.

Развязного звали Александр и потом что-то шипящее. Он был старший адъютант Царь-Петера. Остальные трое просто адъютанты. По-русски – denstchik. Все худо-бедно объяснялись на голландском.

Веселый старший адъютант Марте не понравился. Знала она таких ушлых, на них не разживешься. Норовят попользоваться девушкой и не заплатить. Еще двое были квелые от выпитого, некрасивые и неинтересные. Но на последнего, совсем молоденького, тихого, славного хотелось смотреть все время.

Хорошенький, как китайская фарфоровая кукла! Китайская – потому что глаза немножко раскосые. Волосы до плеч черные, гладкие, на верхней губе пушок, посередине лба чудесная мушка (а может, родинка) и дивные сахарные зубы. Уставился на Марту, будто на чудо какое, она ему улыбнулась – зарделся.

Ужасно он ей понравился. На других русских был совсем не похож. Вообще не похож ни на кого, кого она видела в своей жизни.

Царь-Петер в «Якорь» так и не пришел, но Марта о том не пожалела. Всё любовалась на Родье (так его называли остальные – Rodje или Rodjka) и сердилась, когда наглый Александр над мальчиком потешался: то огрызком кинет, то струю дыма в лицо пустит. «У нас в приличном обществе так себя не

ведут, – строго сказала Марта, помня, что она барышня из хорошей семьи. – Стыдитесь, минхер». Нахал немного притих, а красавчик посмотрел на заступницу с благодарностью, от которой стало тепло на сердце.

Так у них с Родье и началось. В следующий раз они встретились уже вдвоем.

Скоро Марта всё о нем знала.

Что ему девятнадцать лет. Что полностью зовут его Rodion Tryokhglasoff. Отец у него большой человек, лейтенант-колонел (по-русски полуполкownik) регимента русских мушкетеров «Strieltsi», охраняющего царский замок Krieml. Называется регимент «Striemyannoï Polk», туда берут только высоких, статных красавцев, они носят красные мундиры и вооружены посеребренными алебардами. На ответственную и почетную должность Трехглазов-старший попал в благодарность за то, что спас его величество во время опасного заговора. Вот из какой важной семьи был Родье!

И в адъютанты к самому государю он попал тоже по промыслу своего высококочтимого родителя. Зная, что Царь-Петер любит корабельное дело и всё голландское, мудрый отец велел сыну выучить язык Нижних Провинций, а еще – ловко лазить по деревьям. Потом привез мальчика на озеро, где его величество строил парусные суда. Король увидел, как быстро Родье карабкается на мачты, как живо он говорит на голландском, крепко расцеловал (великая честь!) и зачислил в штат своих denstchik. Адъютантов у русского государя много, двадцать человек, но в европейский вояж он взял с собой только четверых, и один из них – Родье. Понятно, что по возвращении юношу ожидает блестящая придворная карьера. Но больше всего Марте понравилось, что он веселый, а в то же время застенчивый и какой-то неиспорченный. Водки не пил, похабностей не говорил, по девкам не таскался и вел себя с «мефрау Крюйткамер», как учтивый кавалер с благородной дамой. Она, правда, такую из себя и изображала. Наврала, что покойный батюшка был морской капитан и оставил сироте некоторое состояние. А тому, что приличная девица разгуливает одна и принимает ухаживания, Родье не удивлялся – знал, что в Амстердаме женщины живут свободно, не как в других местах. На то он и Амстердам, самый вольный, самый богатый, самый легкий город на свете. Где еще дамы и барышни могут сидеть в кофейне со знакомыми мужчинами, не опасаясь за свою репутацию?

Конечно, могла бы проболтаться Фимке, но с нею Марте повезло. Вскоре после того вечера в таверне, чуть ли не назавтра, Царь-Петер прогнал от себя глупую Корову пинками под зад, на потеху зевакам. Все стали дразнить бедную дуру «Цариной», шутить, что зад у нее теперь дворянский, и Фимке не выдержала насмешек, сбежала из Амстердама в свою фризскую глушь, туда ей и дорога. Никто не мешал Марте играть в другую жизнь, красивую и чистую, какой в своем треклятом лахудринском существовании она никогда не видывала.

Мечтать-то Марта всегда любила, с раннего детства. Будто она – не она, а потерявшаяся принцесса, и вот ее находят, и везут во дворец, а там все ей рады, кланяются, наряжают и угощают. Взрослой мечтала, что в нее влюбится некий богатый, прекрасный собой господин, который всё ей простит и увезет в дальние, чудесные края, где никто не слыхивал прозвища «Пороховой Погреб».

Почти то же самое теперь происходило наяву. Юному кавалеру Марта сказала, что ей недавно сравнялось восемнадцать, и он поверил. Потому что у них в России (однажды зашел об этом разговор) женщины к двадцати пяти годам от злых морозов и чрезмерной косметики делаются пожилыми, тучными и водянистыми. Марте было больше, но она смеялась, восклицала: «Ах, двадцать пять – это еще так нескоро!».

Встречаясь, они проводили время очень пристойно. Гуляли вдоль нарядного Господского канала (но вдали от дома Свинячьей Морды). Пили шоколад и сладкий кофе с корицей и имбирем. В *tabakje* курили из длинных трубок ароматный, щекотный табак. Качались на качелях. Плавали на лодке по широкой бухте Эй, где стоят на якоре огромные, как форты, корабли, а на берегу машут крыльями высоченные мельницы.

Иногда Родье водил ее в гости к фадеру Иоанну, весьма ученому посольскому пристеру, который в Москве пастырствовал над иноземцами, перешедшими в русскую веру, и потому знал голландский. Марта там вела себя скромно и чинно, руки целомудренно держала на коленях, помалкивала. Но наедине с Родье говорила много и охотно, потому что он слушал ее разинув рот, с восхищением. Рассказывала ему всякие морские истории, якобы случившиеся с ее покойным папашей. На самом-то деле все эти были и небылицы ей в прежние времена наплели клиенты-матросы.

К мужчинам Марта всегда относилась, как к бодливым козам: рогами тыкайся, а молоко давай, да побольше. Но с Родье ей ничего такого и в голову не приходило. По временам прямо до нестерпимости хотелось обнять его, зацеловать до распухших губ, уволочь в спальню и сожрать, как персик или сочное яблоко. Но держала себя в руках, боялась испортить сказку. Кроватных-то забав она много повидала, эка невидаль. А чтобы вот так, с трепетом в груди и жаром на щеках, и каждое прикосновение ожогом – никогда с ней подобного не бывало. Родье же умел только краснеть, да хлопать длинными ресницами. И откуда он только такой марципановый взялся? Наверно от строгой матери. Он рассказывал, она из далекой Сибири, древнего якутского племени, самая мудрая женщина на свете.

Позавчера Марта все-таки не убереглась. Учила его кататься на коньках, он все время падал, хохотал и так разругался, что не совладала с собой. Обняла, прижала, поцеловала в щеку, потом в рот. Родье весь задрожал, она тоже перепугалась: ой, что натворила! Повернулась, убежала. Думала, как оно дальше будет?

Сегодня, когда мальчишка принес письмо, ждала чего угодно, но не этого.

Всё, закончилась сказка. Уезжает. А она, с подлым ее везением, даже не посластилась с милым другом. Дура, проклятая дура! Ничего у тебя никогда не будет...

Однако, вдоволь наревевшись, Марта встрепенулась. Ей пришла в голову мысль: красиво закончить красивую историю. Ибо ничего подобного в ее жизни больше наверняка не случится.

Пускай алчные шлюхи вымогают у ухажеров подарки. А она поступит наоборот: сама сделает Родье прощальный подарок. Чтоб помнил дочь амстердамского капитана. И ей тоже будет что вспомнить. Как единственный раз в жизни влюбилась всем сердцем и была щедрой.

Сразу же и сообразила, что дарить. Старший адъютант Александр (Menschikov фамилия, Родье о нем часто говорил) очень гордился своими часами на красивой цепочке. У других адъютантов часов не было. А пару дней назад, гуляя по торговой галерее на верхнем этаже Купеческой биржи, где самые лучшие магазины, Марта залюбовалась эмалевой луковицей неопикуемой красоты, со

звонким боем. Вот это будет подарок! Запросная цена восемьдесят гульденов.

Денег у Марты дома было пятнадцать гульденов, остальные все в облигациях. Но уже совсем скоро десятое число, когда Свинячья Морда выплачивает содержание.

Замоталась в шаль от январского ветра и побежала к покровителю, господину Ван Ауторну, одному из бевиндхебберов, управляющих директоров Ост-Индской компании.

Договор у них был такой: пятьдесят монет в месяц на всем готовом. «Все готовое» включает новое платье, нижнюю юбку и три пары чулок раз в два месяца; раз в три месяца башмаки не дешевле семнадцати гульденов десяти стюйверов; счета из хлебной, мясной и сырной лавок поступают на оплату к херру Ван Ауторну. Взамен Марта должна красиво одеваться, беречь здоровье (если что – за лечение будет платить сама), являться для исполнения своей службы когда вызовут и гарантировать *exclusiviteit*, то есть не путаться с другими мужчинами. Если сумеет как-то особенно потрафить работодателю, доставив ему сугубое удовольствие, получает *bonus*. Плюс на все главные церковные праздники – ценный подарок стоимостью не менее двенадцати гульденов десяти стюйверов восьми дуйтов.

Хорошие, честные кондиции. Особенно, если учесть, что господин Ван Ауторн вызывал к себе содержанку только по воскресеньям, когда госпожа Ван Ауторн отправлялась в Гаагу проведать родню.

Сегодня была суббота, но Марта знала, что покровитель будет один. Его жена вместе со служанкой наверняка пошли в Ортус Ботаникус, где раз в неделю с очень хорошей скидкой продают совсем чуть-чуть подгнившие фрукты. Там госпожа Ван Ауторн будет ходить из оранжереи в оранжерею, крепко торговаться за каждый ананас и каждую дыню. Раньше вечера не вернется.

Поторгуется в магазине и Марта за часы-луковицу. Чтоб отдали не за восемьдесят, а за шестьдесят пять. Отдадут.

* * *

Хозяин открыл сам. Одет он был, как обычно дома, в многоцветный японский халат kimono, перехваченный по пузу шелковым поясом, – как есть свиной окорок в праздничной рождественской обертке. До прошлого года херр Ван Ауторн служил фицеопперхофтом, вице-директором, в Нагасакской фактории Компании и хорошо разжился на своей японской должности. В комнатах у него повсюду были восточные ширмы, вазы, разные прочие дорогие, редкие вещи. Свинячья Морда хвастался, что Нагасакская фактория, самый дальний из заморских филиалов Компании, приносит по пятьдесят процентов ежегодной прибыли на каждый вложенный гульден.

Но богатство досталось Ван Ауторну нелегко. Служить в стране япанеров очень трудно. Они не любят чужестранцев и никого на свои острова не пускают под страхом смерти. Только купцов голландской Ост-Индской компании, да и тех лишь на крошечный островок близ города Нагасаки. Ширина того островка всего сто шагов, там и сиди.

Ван Ауторн рассказывал про свое японское житье удивительные вещи. Например, каждый новый голландец, прибыв во владения ихнего императора Микадо, должен наступить ногой на образ Богоматери в знак того, что он не христианин, потому что христиан жестокие язычники распинают на кресте. Икона католическая, так что потоптать ее честному протестанту незазорно, но молиться можно только тайком и шепотом. И церкви, понятно, на островке нет.

Еду, товары и даже питьевую воду японцы привозят сами. Приплывают и специально отобранные шлюхи, которых Ван Ауторн очень хвалил за ласковость и выдумку. Он и от Марты требовал разных японских гнусностей, которым там научился, но не на таковскую напал. Она если и соглашалась, то не иначе как за отдельный bonus.

А сейчас, излагая свою маленькую просьбу (подумаешь, расплатиться на пару дней раньше!), пообещала в следующий раз исполнить любую его фантазию без особого вознаграждения. И что же? Ответом на вежливое, скромное, выгодное предложение был отвратительный крик.

– Ах ты, наглая тварь! – по-свинячьи завизжал Свинячья Морда, пуча свои свинячьи глазки. – Да как ты смеешь требовать от меня плату? Или ты думаешь, я слепой? Хендрик Ван Ауторн никогда не дает себя надувать! Я всегда слежу за исполнением своих контрактов! У меня повсюду глаза и уши! Кто третьего дня обжимался и лизался на канале с молодым москвитом? Ты нарушила

письменный договор, подлая шлюха! Ни дуйта не получишь. Мало того, я еще упеку тебя в Исправительный дом, как мошенницу! У меня есть свидетель! Знаешь, как в Шпинхаусе воспитывают тунеядок и приучают трудиться? Слышала про Насосный Подвал? Туда закачивают воду, и или качай, или тони. И так с утренней молитвы до вечерней. Я тебе это устрою, вероломная стерва!

Марте было известно, что в Шпинхаус за нарушение контракта не посадят и, главное, она отлично знала, как повести себя по-умному. Надо бы заплакать, покаяться, а потом, когда Свинячья Морда распалится от своего всесилія, задрать подол и пару минут потерпеть. И ничего, простил бы, заплатил бы как миленький. Тем более что никаких поцелуев на канале больше не будет.

Но огненная искра упала глубоко в душу, подожгла Пороховой Погреб, потемнело в глазах, от взрыва раздуло грудь, и Марта закатила Свинячьей Морде фейерверк почище того, что Царь-Петер тогда устроил для амстердамцев.

«Грязная жирная свинья», «кусоч ослиного навоза» и «полдюймовый сниккель» – это еще самые мягкие комплименты, которыми она одарила херра Ван Ауторна. Под Мартиным напором он допятился до середины форхауса, споткнулся о скамеечку для ног, бухнулся на ковер, а падая, стукнулся башкой о клавесин, который отозвался мелодичным струнным перезвоном.

– Вон! – завопил Свинячья Морда, держась за ушибленный затылок. – Воон!
Чтоб я тебя больше не видел!

– Я уйду, когда ты заплатишь мне за минувший месяц!

Но херр Ван Ауторн сложил пальцы кукишем, да Марта и сама понимала: ничего не даст.

Ярость у нее еще не схлынула, но голова немного прочистилась и подсказала, что надо делать.

– Пусть у тебя треснет твое жирное брюхо и сгниет твой поганый сниккель! – сказала она уже бывшему покровителю на прощанье.

Выбежала в прихожую, распахнула и громко захлопнула дверь на улицу, а сама спряталась в углу, за вешалкой с плащами. Уходить, не получив честно заработанное, Марта не собиралась.

Она слышала, как хозяин кряхтя поднялся. Потом увидела его тушу совсем близко – херр Ван Ауторн вышел в переднюю запереть дверь. Гроыхнул засовом, выругался, тяжело затопал вглубь дома. Наверняка на кухню. Марта знала, что, разозлившись или разгорячившись, бевиндхеббер обязательно должен пожрать, и скоро не насытится.

Прислушиваясь к звяканью и громкому чавканью, она бесшумно просеменила к лестнице. Башмаки держала в руке. Там, на втором этаже, в спальне, месте основной Мартиной службы, под кроватью – утопленный в полу железный сундук, где Ван Ауторн хранит ценности. Замок хитрый, аугсбургский, открывается особым набором цифр – нужно крутить маленькие колесики. Но один раз, развежившись от ласки и налакавшись сладкой мадеры, Свинячья Морда стал хвастаться своими богатствами, и Марта подглядела: 7-9-0-1. Ничего такого не замышляла, просто у нее были хорошие глаза и быстрый взгляд.

Теперь пригодится.

Она подняла свисающее с постели покрывало, набрала цифры. Хорошо смазанная тяжелая крышка, открываясь, не скрипнула.

Внутри лежало сложенное аккуратными столбиками серебро. В каждом по двадцать гульденов, и столбиков этих сотня, а то и полторы. Вот ведь скряга! Пожалел несчастные пятьдесят монет! Еще там были стопки акций, чеки Виссельбанка и, в коробочках, драгоценности меффрау Ван Ауторн.

Марта собиралась взять только свое месячное жалование, пятьдесят гульденов. Ей, честной девушке, чужого не нужно. Но теперь, поостыв, заколебалась. Свинячья Морда пересчитывает свои сокровища каждый вечер. Нынче же обнаружит пропажу и догадается, кто взял. А в магазине расскажут, что Марта Крюйткамер купила часы. За воровство уж точно попадешь в Исправительный дом, насос качать. Нет. Ни серебра, ни тем более драгоценностей брать нельзя.

Лишь то, чего Ван Ауторн скоро не хватится и из-за чего не сможет пожаловаться стражникам.

И пришла ей в голову умнейшая, прямо-таки превосходнейшая мысль. Где тут была лаковая шкатулочка с японским божком? А, вот она, в самом низу.

Открыла, развернула шелковую тряпицу. В ладонь будто сам собой лег темно-коричневый шарик, невесомый и шершавый. Если не присматриваться – небольшой грецкий орех. А поднести к глазам – видно грубо вырезанную фигурку. Пузатенький идол сидит ноги калачиком, ручки сложены на животе, лысая башка с большущими ушами, узкие глазки зажмурены, посреди лба точка. Как его звать-то, идола? Ван Ауторн говорил... Буба? Нет, Будда.

Фигурка эта была очень важная. Не сама по себе, конечно – идол он и есть идол, тьфу на него, а для Свинячьей Морды. Из-за этого маленького кругляшка Ван Ауторн раньше срока покинул Нагасаки и получил такое почетное повышение, сделался бевиндхеббером. Очень он гордился этой историей, рассказывал про нее не раз, с удовольствием.

История была такая.

Божок раньше хранился в каком-то ихнем языческом капище. Японеры почитали маленького идола за великую святыню, даже не смели на нее смотреть, прятали за семью покровами. Но главный жрец, которому полагалось оберегать Будду, оказался азартным игроком в кости, продулся в пух, залез в долги и попросил у Компании ссуду, потому что у туземных ростовщиков ему, святому человеку, одалживаться было зазорно. В залог предложил истуканчика.

Наши купцы сообразили, какая это великая удача. За орехового Будду можно было получить во много раз больше, чем тысяча монет, которую ссудили игроку. Если хорошо поторговаться, Компания добьется важных привилегий. Возможно даже права открыть еще одну факторию или расширить нынешнюю.

Переговоры предстояли долгие и деликатные, ведь официально никто никакого Будду не крал (это был бы скандал на все японское королевство), и никто из голландцев ореха якобы в глаза не видывал.

Главная опасность, рассказывал Ван Ауторн, состояла в том, что туземцы могли так же тайно выкрасть идола обратно. У них там есть секретная секта профессиональных шпионов, которые умеют прокрадываться куда угодно. Так и называются – «крадущиеся». Сопрут, и пиши пропало. Потому для пущей безопасности вице-директора фактории отправили с реликвией домой, в Голландию. Когда сговорятся с жрецами о цене выкупа, Будду доставят обратно, а пока он лежал себе в своей шкатулочке, у херра бевиндхеббера под кроватью.

За эту пропажу Ван Ауторн в суд не подаст. Во-первых, Будда и так краденый. А пуще того побоится Свинячья Морда показать себя перед Советом Директоров болваном, у которого шлюха стащила такую ценную вещь.

Шарик наверно стоит многие тыщи, но Ван Ауторн может его выкупить за пятьдесят монет. Марта Крюйткамер не воровка и не вымогательница, она лишь желает вернуть свое.

Очень довольная собственной смекалкой, она положила пустую шкатулочку точно на то же место, а маленькую круглую штучку спрятала в карман. Сундук заперла обратно, покрывало поправила.

Внизу чуть не столкнулась с хозяином, но вовремя шмыгнула в боковую комнатку, где обитала служанка, и спряталась за полог бетштелле, спального альковчика.

Минуту спустя, беззвучно отодвинув засов, выскользнула на улицу.

Там кружились, посверкивали в зимнем солнце снежинки, Господский канал зеленел чистым льдом, день был свеж и ярок. От ослепительного света Марта сощурилась, и было ей странное видение.

Вдруг, очень отчетливо, она увидела у стены дома, перед поворотом на Утрехтскую улицу, ожившего божка Будду. Был он не крошечный, а обычного человеческого роста, в чем-то черном, с круглой голой головой и узкими глазами, а посерединке лба точка.

Марта зажмурилась, перекрестилась, и ничего, наваждение пропало. Поглядела снова – никого, только кружатся снежинки.

Ну и ладно. Надо было спешить.

Подарить Родье часы, увы, не получится. Но придумалось еще того лучше, Марта прямо вся задрожала от предвкушения. Какой подарок может быть дороже любви?

На прощанье она подарит милому себя. Перестанет изображать церемонную капитанскую дочку. Пускай один только разочек, но полакомится женским счастьем!

И несказанно обрадовалась своей придумке, понеслась по набережной со всех ног. Скорей, скорей!

От спешки чуть не лишилась жизни. Потому что не глядела вокруг, бежала сломя голову. Жалко было терять время. Сколько его осталось?

Вдоль канала мчалась упряжка с загулявшими морскими капитанами. Они орали, гоготали, разгоряченные лошади бешено фыркали. Прохожие не возмущались, дело для Амстердама было обычное, а лишь заблаговременно отбежали. Но Марта в своем возбуждении опасности не заметила, и пропасть бы ей под острыми копытами, под окованными колесами, но маленький Будда, которого она по-прежнему сжимала в руке, вдруг выскользнул из потной ладони, заскакал по мостовой, и женщина кинулась за шариком, чтоб не упал в воду.

Лишь когда в шаге за ее спиной пронесся ураган, Марта поняла, что спаслась чудом. То ли Христос ее спас, то ли, что вернее, Будда.

Поблагодарила обоих. Господа короткой молитвой, а божка поднесла к губам, поцеловать, и только теперь сообразила: а пятнышко на лбу у него точь-в-точь как у Родье!

Поцеловала трижды, сказав: «Спасибо, херр Будда, за чудесное чудо».

И знать не знала, что чудесные чудеса только начинаются.

* * *

В гостиницу «Кабанья голова» она прибежала такая запыхавшаяся, что в первую минуту не могла и слова вымолвить. Лишь смотрела на Родье, да разевала рот. Он тоже был весь красный и вспотевший, хотя камин в комнате не горел.

Сказать то, зачем пришла, Марта не успела. Он заговорил первый, очень сильно волнуясь.

– Как хорошо, что ты здесь! Я боялся, письмо не получишь или еще что...
А сейчас увидел тебя в окно – кинуло в жар. Перетрусил. Вдруг скажу, а ты...
Сейчас, сейчас... – Он оттянул шейный платок, откашлялся. – Честная госпожа Марта Крюйткамер, выходи за меня замуж!

Выпалил – и испугался еще больше. Затараторил, ошибаясь в голландском хуже обычного.

– Мне завтра уезжать, бог весть когда вернусь, и вернусь ли... Или приеду, а ты уже с другим помолвлена. Без тебя мне жизнь ни во что! Повенчаемся нынче же, а? И уеду я в Англию твоим супругом, а ты будешь ждать моей женой. И никто уже этого не порушит, ни на земле, ни на небе!

Она молчала оторопевшая, не верящая такому невозможному чуду. Родье же принял ее онемелость за сомнение – и еще торопливей:

– Ты меня давеча поцеловала, иначе я бы не насмелился! Значит, я тебе не противен?

Марта лишь помотала головой: нет, нет.

Он обрадовался.

– Вот видишь! А полюбить ты меня потом полюбишь. Я для тебя все сделаю, ничего не пожалею!

И снова забеспокоился.

– Только чтоб повенчаться, нужно одной веры быть. Ты согласная... в наш русский обычай перейти? Тот же Христос, только крестись тремя пальцами, а?

Не согласная? Ах, так я и знал!

На ясных глазах выступили слезы. К Марте же дар речи все еще не вернулся. Поэтому она молча сложила пальцы щепотью, как это делают русские, и перекрестилась справа налево.

– Тогда всё нынче же исполним! – вмиг перешел от отчаяния к восторгу Родье. – Отец Иоанн сделает тебя русской, а потом сразу нас обвенчает. Он добрый. Сначала не хотел, боялся государя, но я его умолил. Только отец Иоанн сказал, что хочет с тобой потолковать.

– Боялся Царь-Петера? – пролепетала Марта. – Почему?

Она уже могла говорить, но соображала плохо, мысли в голове сталкивались между собой. Как это – стать русской? Зачем толковать с пристером? Времени и так очень мало! И еще: а не снится ли ей всё это?

– Без разрешения государя денщику жениться нельзя.

– А он не разрешит, да? – упавшим голосом молвила Марта.

– Кто его знает? С ним не угадаешь. Может осерчать, тогда беда. А может разрешить, и это тоже лихо. Потому что он любит свадьбы играть, и творит на них такое, что рассказать стыдно. – Родье махнул рукой. – Нет уж. Повенчаемся тайно. А после, в Москве, как-нибудь устроится.

Я поеду в Россию, сказала себе Марта. Я буду супругой королевского адъютанта, благородной дамой. В далекой стране, где никто про меня ничего не знает и ничем не попрекнет. Совсем как мечталось!

Ах, да разве в том дело! Я буду с Родье. Навсегда, навечно!

И слезы из глаз. Сунула руку в карман, за платком – наткнулась на шершавый кругляш. И подумала: это всё Будда. Его чудеса.

На беседу с пристером, который жил неподалеку от гостиницы, в маленькой квартире рядом с русской молельней, устроенной в пустом портовом складе, Марта шла светлая и радостная. Отца Иоанна она знала и нисколько не боялась. Он был почтенный, учтивый старец с длинной седой бородой, все время сидел с книгой. Когда Родье в прежние разы приводил свою амстердамскую знакомицу, тихую и скромную, священник тоже смущался, поглядывал на нее конфузливо, говорил о пустяках.

Теперь же она увидела его другим. Облаченный в лиловую рясу, с парчовой лентой через плечо, в высокой шапке трубой и золотым крестом на груди, отец Иоанн не улыбался, глаз не отводил, был торжествен и строг.

– Из Лютеровой веры в православную перекрещивать не надобно, и церемония перехода из инославия самая простая, – сказал он. – Но прежде чем я свершу обряд, помажу тебя святым миром и сподоблю пречистых тайн, дочь моя, позволь сделать тебе несколько вопросов. Поклянись именем Христовым, которое равно священо и для вас, что будешь говорить правду.

Марта легко поклялась, не ожидая от доброго пастыря никакой тяготы. Она уже думала не о церковном обряде и даже не о венчании, а о том, что будет после, когда они с Родье останутся наедине.

Первый вопрос и вправду прозвучал просто.

– Должен я спросить тебя, дочь моя, чего ради переходишь ты из Лютерской церкви в православную? По сердечной ли вере или по какой иной причине?

– По моей сердечной любви к херру Родиону и по сердечной вере в него, – отвечала Марта со всей честностью, потому что поклялась именем Иисуса. – У нас, откуда я родом, говорят: «Муж верит в бога, а жена верит в мужа».

– Это хорошо сказано, но и муж должен верить в жену. – Священник все больше хмурился. – А как он будет тебе верить, если ты его обманываешь? Ты ведь не честная девица, ты блудня... Не изумляйся. Никто на тебя не доносил. Такая уж у меня служба – наблюдать челоуеков и зрить в их души.

Марта вскочила так порывисто, что опрокинулся стул. Грудь сжалась, в голове заметались куцые, испуганные мысли.

Что делать? Что отвечать? Неужто всё пропало? Поманило счастье и надсмеялось. Сейчас выгонят ее с позором – и что после? Единственно повесить камень на шею и в прорубь...

Можно было изобразить недоумение, возмущение, оскорбиться, но Марта посмотрела в печальные старые глаза пристера и горько разревелась.

Размазывая слезы, нескладно стала молить:

– Сударь, вы только Родье не рассказывайте. Ему больно будет. Я через черный ход уйду, а после напишу ему, придумаю что-нибудь...

– Как это я ему не расскажу? – переполошился отец Иоанн. – Он будет спрашивать, и что мне – лгать? Я не умею!

– Ну не лгите, коли не можете. – Марта вытерла слезы, поднялась. – Только скажите, что я любила его всем сердцем. Что из бывших шлюх выходят самые верные жены. И что Иисус от блудницы Марии Магдалины не отвернулся. Прощайте...

Опустила голову, хотела уйти, но священник ее остановил:

– И опять ты хорошо ответила. Истинная любовь самую черную грязь отмывает добела, про то вся наша вера. Однако скажи мне вот что: не таишь ли ты еще какой нечистоты или кривды, которая после сделает Родю несчастным?

Уж тут-то Марте точно следовало промолчать, но такой на нее нашел самогубительный порыв, что она снова повинилась в ужасном:

– Непогодная я, отче. Не будет у меня детей, а для благородной фамилии, которая требует продолжения, это беда...

Однако к этому признанию отец Иоанн отнесся с неожиданной легкостью.

– Появление на свет новых душ – то не твоего и не моего разумения дело. Воспонадобится Господу новая душа – появится. Ты молись. У Бога чудес без

счета.

Он перекрестился, Марта тоже, а левой рукой в кармане еще и погладила орех.

Пристер теперь смотрел на нее без суровости, но все равно печально.

– Ты со мною была честна, буду и я с тобой честен. Чтоб ты тоже не обманывалась, пустых чаяний не строила. Должен я тебя предупредить о двух вещах. А ты ответь не сразу, но подумав.

Марта, конечно, насторожилась, опять приготовилась к нехорошему.

– Если ты воображаешь, дочь моя, что будешь в Москве знатной придворной дамой, потому что твой жених – сын важного офицера, вроде здешних королевских гвардейских, то знай: это не так. Скажу тебе то, чего сам Родя по юности лет не понимает. Его родитель херр Аникей Трехглазов, в самом деле, подполковник лучшего из старинных царских полков, однако же в прошлом году среди стрельцов обнаружился злодейский заговор. Главарей предали мучительной казни, а солдат с командирами отправили подальше из столицы, на пограничную службу. Так что отец Роди, считай, в ссылке, у государя в немилости. А у нас в России так: кого не жалует царь, в того летят все стрелы. На то, что его величество благоволит Роде, тоже не надейся. Государь переменчив, и люди для него что огурцы: надкусил да выбросил. Не жди в Москве ни почестей, ни богатства.

– Я раньше думала, что мне это важно, – сразу сказала Марта, потому что думать тут было не над чем. – А теперь мне все равно. Я хочу прожить свою жизнь с Родье – Бог даст, в радости, а нет, так и в горе.

Пристер вздохнул.

– Тогда еще одно, чего иноземке не сказал бы, но поскольку ты ныне собираешься стать одной из нас, утаить не могу. Москва – не Амстердам, а Россия – не Соединенные Провинции. Жизнь у нас суровая, грубая, закрытая. Прямо – как я сейчас – никто ни с кем не говорит, все больше шепотами и обиняками, неоткровенно. Суда справедливого нет, на все воля начальственных людей, и наказания их жестоки. Я как лицо духовное обязан видеть во всех сих злосчастиях особенную любовь Господа, который, как нам ведомо, строже всего

испытывает тех, кто его правильнее славит... Однако ж знай: из страны легкой, богатой, счастливой поедешь ты в страну трудную, бедную и несчастную, да простят меня Бог и государь, что я такое говорю.

Под конец Марта слушала невнимательно, думала уже о радостном.

– А ничего, – улыбнулась она. – Несчастнее, чем в Голландии, я там не буду.

– Ну Бог с тобою. Видно, так Ему надо, – молвил отец Иоанн, спуская с плеч концы златотканного шарфа с вышитыми крестиками. – Тогда повторяй за мною слова отречения от ересей...

...Пира никакого не было. Сразу после венчания молодые заперлись в комнате, и до самого утра Марта любила своего мужа. Плотских блаженств, о которых ей мечталось, никаких не получилось, потому что Родье от юности был неловок, а Марта себя сдерживала, чтобы не выдать своей опытности. Говорила мысленно: «Ничего, милый, всему свое время. Я тебя много старше, но когда ты как следует меня узнаешь, не захочешь никаких других женщин и всегда будешь мне верен. А я-то тебе вечно буду верна».

Ночью она научилась называть Родье по-новому. Спросила, как его в детстве звала матушка. И, когда на рассвете прощались, сказала:

– Ты только возвращайся, Rodnenkje.

Немая Марфа

Москва. 7206 г.

«А по пятницам доброй хозяйке надлежит менять постельное белье на кроватях, простыни, пододеяльники и подушные наволочки, и те, которые несвежи, постиравши в кипятке, потом шесть часов томить в холодной воде, добавивши туда лаванды и сушеной ромашки – первую ради приятного запаха, вторую – для отпугивания клопов», – шевелила губами Марта, стараясь получше запомнить. За долгое путешествие она научилась непростому искусству чтения в тряском возке. Книга была очень полезная, называлась «Опытная и знающая голландская домохозяйка». Девочки, которые выросли в хороших семьях, знают ее с детства, там домашняя мудрость на все случаи жизни, но Марта была из плохой семьи, хозяйкой становиться никогда не собиралась, и наука была ей внове. Теперь вот наверстывала, благо времени в дороге хватало.

Она прикрыла глаза, чтоб не подглядывать в книгу, стала шепотом повторять, и тут отец Иоанн тронул ее за рукав.

– Гляди. Москва.

Повозки одна за другой останавливались на холме, под большим деревянным крестом. Все спешили, крестились, смотрели на огромный город, синевший вдали, за излучиной реки. Стала смотреть и Марта.

Закатное солнце светило в спину, и русская столица вся посверкивала золотыми точками. Марта не сразу догадалась, что это купола храмов, сотни и сотни. Остальное было серое – там где дома, и желто-красное – где осенние деревья.

– Сподобил Господь вернуться, – прошептал отец Иоанн, всхлипнув, и Марта поняла сказанное.

Она была русской уже девять месяцев, с января, и усердно училась всему русскому: и трудному курлыкающему языку, и нетрудной грамоте.

В то же январское утро, когда бывшая салет-йофер «Пороховой Погреб» проснулась госпожой Tryochglasov и проводила законного супруга в заморское плавание, она съехала с прежней квартиры, объявив, что навсегда, ни с кем из прежней жизни не попрощалась и переселилась к фадеру Иоанну. Так было условлено с Родненкье.

Оттуда, из корабельной слободы Оостенбурга, она никуда не выходила, чтобы случайно не повстречать каких-нибудь старых знакомых. На рынок за едой плавала на другую сторону бухты, на пароме.

Ей нисколько не было скучно. Марта училась – новому языку, новым молитвам, ведению хозяйства; с увлечением готовила по поваренной книге разные кушанья; что ни день устраивала уборку в маленькой квартире отца Иоанна. По вечерам писала мужу, рассказывая, как провела день. От Родненкье письма тоже приходили часто.

У него-то событий было много больше. Царь-Петер на месте не сидел, таскал за собой свиту то в доки с арсеналами, то в парламент, то в университет, то смотреть в большую трубу на звезды, то в кунст-камеру на заспиртованных уродцев, и повсюду Родненкье наблюдал удивительное, и обо всем обстоятельно рассказывал, в конце непременно приписывая про любовь и сбережение здоровья.

За свое нежданное, незаслуженное счастье Марта благодарила всех богов. Русского вслух и вместе с фадером, голландского – шепотом, когда одна. Не забывала и орехового Будду. В отличие от двух первых, он был всегда рядом. Можно погладить пальцем, поцеловать. Живот у божка был круглый – каким стал бы и у нее, Марты, если б она могла понести. Об этом она часто думала, вздыхала.

И что же? Со временем явилось новое чудо, не менее, а даже более поразительное, чем январское!

Двенадцать лет путалась Марта с мужчинами, уж давно со счета сбилась сколько их перебывало – и ничего. А тут полюбилась всего одну ночь, и проросло семя.

Она долго боялась верить. Когда же сомнений не осталось, сделала для чудотворного шарика петельку из тончайшей, почти невидимой, но очень прочной шелковой нити и повесила талисман на шею, рядом с русским крестиком и маленьким образком «Нечаянная радость» – то и другое дарено отцом Иоанном по случаю превращения лютеранской Марты в русскую Марфу.

А в конце апреля пришло письмо, после которого тихая оостенбургская жизнь закончилась.

Родненкье сообщал, что государь возвращается в Голландию, но долго там не задержится, отправится к австрийскому императору, а младшим денщикам велено следовать прямиком в Вену. Попечалившись, что не повидается со своей *geliefde vrouw*, муж давал подробные наставления, как Марте быть: ехать вместе с обозом, который повезет в Москву из Амстердама закупленные там инструменты, механизмы и всякие редкости. Дорога будет медленная, но это хорошо, потому что черевой быстро ехать и ненадобно. Состоять Марте по-прежнему при отце Иоанне, который будет ее попекать и о ней заботиться. Если же *schatje Marfinka* окажется на Москве ранее мужа, то жить ей у свекрови *Agafia Petrovna* в *Kislowaska Sloboda*, что в *Belyj Gorod*, там же и рожать, матушке про то уже отписано. Женщина она строгая, но бояться ее не надо.

Марта и не боялась. Она жила на свете давно и хорошо знала: если ты кому-то очень хочешь понравиться, то, если не совсем дура – понравишься. Полюбят ее свекор со свекровью, когда узнают. Никуда не денутся. Чтоб полюбили скорее, она приготовила обоим хорошие подарки. Новому батюшке черепаховую табакерку и красивую шпагу с золоченым эфесом; новой матушке – павлиний веер, вечную французскую розу для корсажа и перламутровый гребень. Потратила все свои сбережения, но не жалко.

Перед самым отъездом послала Фимке письмо в ее фризскую дыру, пусть Корова сдохнет там от зависти. Подписалась: «*Nobele dame Martha de Tryokhglasov*» – на французский лад, по-дворянски.

Пока караван обстоятельно собирался в дорогу, наступило лето. Наконец поехали, и ехали долго, через всю Германию – ганноверские, брауншвейгские, бранденбургские владения. В Бремене остановились и простояли две недели – ждали, пока тамошние мастера изготовят Царь-Петеру (которого надо было правильно называть «*batjuschka zar gosudar Pyotr Alexeevitch*») набор зубодерных щипцов.

Живот понемногу рос, Марта его пощупывала, поглаживала, улыбалась.

Ехали через Польское королевство – начало поташнивать. В великом герцогстве Литовском тошнить перестало, но понадобилось перешивать пуговицы, потому что платью не застегивалось. С иголкой непривычные к женской работе пальцы управлялись плохо, Марта вскрикивала, укалываясь, и смеялась.

А там уж показалась и русская граница. Ее пересекли в самый последний день лета.

И тут в обозе случился переполох. Оказалось, что в Московском царстве большая смута. Взбунтовались пограничные полки, собрались походом на столицу, хотят свергнуть царя Петра Алексеевича и вернуть на престол его сестру принцессу Софью, которая правила раньше, а теперь заточена в монастырь.

Простояли у рубежной заставы неделю, потом узнали, что мятеж, слава Богу, подавлен, бунтовщики схвачены, а многие уже казнены. Отец Иоанн отслужил молебен, отправились дальше.

А Марта была рада передышке. Брюхо у нее делалось все капризнее, от непокоя пучилось, содрогалось. Но и это было счастье. Все вокруг уважали Мартины страдания, называли почтительно Марфой Ивановной – ведь она была благородная особа и мужняя жена.

Страна Rusland, новое отечество, показалась ей очень странной. В пути Марта сравнивала все чужие княжества и королевства с Голландией и видела: чем дальше на восток, тем жизнь хуже. Немцы жили беднее и грязнее голландцев; поляки беднее и грязнее немцев; литовцы с их соломенными лачугами и тощими стадами показались вовсе дикарями. А Россию сравнивать с другими землями было трудно, потому что никакой России, считай, не было.

Пустая страна, безлюдная. В Голландии из одного селения обязательно видно соседнее, да и не одно. Здесь же в первый день не встретилось никаких домов, только леса, поля, низкие холмы. На второй день утром проехали деревню в три дома и перед самым вечером еще одну, в пять.

– Где все люди? – удивилась Марта.

Отец Иоанн ответил:

– Земля у нас широкая, малолюдная. Это еще населенные края. За Москвой, к северу и востоку, того пустынной. А кто бывал за горами Каменный Пояс, сказывают, что там можно неделю идти, и ни души не встретишь.

Марта ждала первого города, который назывался Smolensk, столица провинции Smolenschina, однако он оказался деревянной деревней, размером не больше Заандама, только что обнесен каменной стеной с пушками.

Удивительное королевство!

Удивительно было и то, как изменились спутники. По ту сторону границы были они смешливые, распевали веселые песни, звонко отбивая темп деревянными ложками, а достигнув родины, вместо того чтоб радоваться, вдруг заугрумились и пели теперь протяжное, грустное. Может быть, из-за мрачных лесов и мокрого осеннего неба?

Больше всех переменялся начальник стражи херр сотник Fyodor Sjtsjoekin. Произошло это, правда, не прямо на границе, а после Смоленска. Там обоза дожидался гонец с письмом. Сотник прочитал, насупился и с тех пор шуток с Мартой больше не шутил, а смотрел исподлобья и молчал, хотя все время был где-то неподалеку.

Хмур сделался даже фадер Иоанн. Бесед не вел, лишь вздыхал и шептал молитвы, на все расспросы о приближающейся Москве отвечал только одно: «Молись, дочь моя».

Ну и пусть. Марте и без бесед было чем себя занять, о чем подумать.

Дорогу развезло от ливней, езда на повозке, и раньше тряская, сделалась пыткой для огромного живота, потому Марта предпочитала идти пешком. Говорят, оно и для плода полезно. Если начинался дождь, раскрывала китайский зонт с драконом. Редкие встречные разевали рот на такое диво: огненноволосая брюхатая баба в полосатом иноземном платье под грибом, на котором разевает пасть нерусский Змей-Горыныч! Крестились, некоторые плевали.

Думала Марта теперь всё больше про свекровь. Если в России даже хорошо знакомые люди стали такие нелюбезные, какова же будет матушка Агафья Петровна, коли она среди русских слывет суровой? Как бы дотерпеть до той

поры, когда вернется Родненкье? Тогда каждый день будет праздник. А когда родится сын (неприменно сын!) – вдвойне.

Что Родненкье еще не вернулся, она знала. Иначе прислал бы какую-нибудь весточку из Москвы, а то и встретил бы на дороге. После самого отъезда из Амстердама ни одного письма от него не было, а и куда бы он стал писать?

* * *

Все русские кланялись венчающему горку деревянному кресту, который так и назывался – Поклонным, молились, чтобы дома за время разлуки ничего плохого не стряслось, просили у попутчиков, с кем скоро расставаться, прощения за вольные и невольные обиды.

Подошла и Марта к фадеру Иоанну, низко, по-русски, ему поклонилась, спросила, не прогневала ли чем его по своей дурости, раз он ее сторонится, и коли виновата, пусть он ее простит.

Священник от этих слов понурился, прослезился, замахал на нее дрожащей старческой рукой.

– Это ты меня Христа ради прости, червя малодушного. Должен я был тебе наперед сказать, да забоялся. Сотник Щукин велел с тебя глаз не спускать, а правды не говорить, и всяко грозился, вот я, грешный, и не посмел...

Она слушала, не понимая.

Взял ее отец Иоанн за локоть и, пока остальные домаливались каждый о своем, зашептал:

– Перед Господом грех хуже, чем перед Государем... Видала гонца, что нас в Смоленске ждал? Была у него при себе для Щукина грамотка. В той грамотке

писано, что стрелецкий полуполковник Аникей Трехглазов, твой свекор, был у мятежников в главарях. Видно, обиделся на государя, что тот его за верную службу ссылкой наградил... Велено за тобой, трехглазовской невесткой, неявно, но крепко досматривать, а по приезде доставить в Преображенский приказ. Это место страшное... На беду свою ты сюда приехала, бедная.

А Марта всё не могла взять в толк.

– Так то свекор, а что им я? И Родье мой ни при чем, его же в России не было, он с царем за границей путешествовал.

– У нас не так, как в Голландии. Сын за отца ответчик. Вся семья заодно. Если награждают – весь род, если карают – тож. Испокон века так. На что ты допросным дьяком из Преображенского приказа понадобилась, не знаю, а только хорошего там не жди. Эх, девка, сбежала бы ты, что ли... – тоскливо закончил он.

– Куда я побегу? – перепуганно схватилась за живот Марта. – Я хожу-то уткой, с боку на бок...

– Ладно, Бог милостив, а от судьбы не уйдешь. Может, и не будет ничего. Расспросят да отпустят. На тебя поглядеть – видно, что дура голландская.

– А с Родье что будет? – вскрикнула она. – Только бы нас не разлучили!

Священник ничего не ответил, лишь возвел очи к небу.

Тут сотник Sjtsjoeikín закричал, чтобы все садились по повозкам и в седла, время-то к темноте, и обоз тронулся.

Всю дорогу до городской границы, высокого земляного вала с караулом, Марта то молилась за Родненкье, то просила прощения у своего будущего сына. Думала, на счастье его родит, а выходило – на беду.

У заставы случилось жуткое. Когда стража остановила поезд и сотник с седла стал на них кричать, что обоз-де государев и нечего волокититься (Марта поняла это и со своим небольшим русским), из-под стены, где густела тень, вышел

некто в синем кафтане, в остроконечной шапке волчьей оторочки. Подошел к сотнику:

- Ты Федька Щукин? Тебя, изменника, блудного сына, нам и надо.

И как свистнет. Откуда-то налетели еще двое, тоже синие, сволокли стрелецкого начальника с седла, и, хоть он не сопротивлялся, а только охал, стали свирепо бить ногами. Потом кинули в телегу, на солому, повезли. Старший же перед тем, как пойти следом, крикнул:

- Государев обоз пропустить!

Вернувшаяся из Европы посольская челядь молча постояла, потом возницы ни слова не говоря тряхнули вожжами. Поезд въехал в столицу русского царства.

Священник сказал Марте на ухо:

- Не иначе кто-то из стрельцов с пытки наговорил на Щукина. Он вон тоже в Европе был, ни в чем не замешан - а слыхала? Изменник.

Она тряслась, стучала зубами.

Уже почти совсем стемнело, но и сквозь сумерки было видно, что русская столица нехорошая. Улицы зловеще пусты. Вдоль них глухие заборы, и ворота все на запоре. Дальше - диковинней: пустыри, огороды, редкие огоньки. Заколдованное, выморочное царство.

Впереди сквозь мрак забелела подсвеченная факелами каменная стена с толстой башней. Меж зубцов густо висели, покачиваясь, черные стяги.

- Это Белый Город, - объяснил фадер Иоанн. - Внутри будут еще две стены, Китай-Городская и Кремлевская. Скоро прибудем. Ты чего?! - шарахнулся он, потому что Марта завизжала.

Посмотрел, куда она тычет трясущимся пальцем, и тоже вскрикнул.

Меж зубцов висели не стяги, а покойники, многое множество, сколько хватало глаз, в обе стороны.

– Стрельцы это, стрельцы, – загудели обозные. – Ишь сколько понавешено...

У Марты закрутило живот. Подхватила его руками, скрючилась, перетерпела, уговорила дитя повременить.

За стеной заборы стали выше и сомкнулись. За ними угадывались высокие крыши, не такие острые, как голландские. Людей по-прежнему не видно, не слышно. Только отовсюду неся хриплый, бешеный лай. Марта не знала, что в городе может быть столько собак.

Отец Иоанн кряхтел, ворочался на сиденье, несколько раз вроде порывался что-то сказать, но не решался. Марте было не до терзаний спутника. Она молилась, подняв обе руки к шее: одною гладила образок, другой Будду.

Но посреди большого перекрестка поп вдруг нагнулся к самому уху спутницы и тихо, чтобы не услышал сгорбившийся на облучке возница, а в то же время отчаянно, еще и махнув дланью, шепнул:

– Я духовная особа, а не schpin преображенский! Спросят – я спал. Что они мне, старику, сделают?

Странные слова, верно, были продолжением какого-то внутреннего разговора с самим собой, и Марта не поняла.

– Что?

– А то! – Он показал на зазор между заборами. – Вон там Кисловская слобода. Близко. – И решительно продолжил: – Соскользни на землю, неприметно. Беги туда. Повернешь во второй переулочек налево, упрешься в большие ворота. Там

двор Трехглазовых. Вдруг не всех домашних забрали. А коли нет никого – надейся на Господа. Может, пожалеет рабу Свою Марфу и нерожденного младенца. Пора, с Богом!

И толкнул в плечо.

Кроме фадера Иоанна в этом страшном, чужом мире у Марты никого не было, а собственных мыслей у нее в голове никаких не осталось, один страх. Поэтому не споря и не рассуждая, она перевалилась через борт повозки, пригнулась, вперевалку засемила в темноту. Ничего с собой не взяла.

* * *

Тяжело дыша, шла тесным, как ущелье, переулком. Пока ехали широкой улицей, дул порывистый ветер, вскидывал вверх палые листья, ворошил лошадиную гриву, а тут было тихо. Заборы подступали с обеих сторон, будто понемногу загоняли в ловушку, из которой не сбежать. Переулок закончился тупиком, привел к большущим воротам в два Мартиных роста. Она остановилась в нерешительности. Постучать?

Потом заметила, что створки сдвинуты неплотно. Закрыты, но не заперты.

Толкнула, вошла во двор. Застыла.

Там, на пустом пространстве между чернеющим в темноте большим домом и низкими постройками по бокам, кто-то стоял. Раздался сухой щелчок, другой, третий. Рассыпались искры, загорелся малый огонек, сразу же расцветший большим трескучим пламенем. Это от трута вспыхнул, разгорелся факел.

Его держала в руке невысокая, плотно сбитая женщина в спущенном на плечи платке. Волосы у нее были темные, посверкивали серебром.

Вдруг, должно быть, услышав, как переминается с ноги на ногу Марта, женщина обернулась.

– Тебе чего тут? – сказала она странно глухим голосом. – Ты кто? А ну, подойди.

Марта приблизилась.

Увидела плоское лицо с китайскими глазами, похожими на Роднины, и догадалась, кто это.

Поклонившись, произнесла приветствие, выученное давным-давно, еще до отъезда из Амстердама (отец Иоанн научил):

– Стравствуй, матушка Агафья Петровна. Пошалуй меня, точерь твою Марфушку. Посторову ли ты?

Узкоглазое лицо не дрогнуло, никаких чувств не выразило. Свекровь молча разглядывала оранжевые локоны, странную для нее одежду, а остановила взгляд на животе.

Не дождавшись ответа, Марта спросила про самое главное:

– Родье уше вернулся?

Глаза-щелки сомкнулись, будто в сонливости. Всё такой же глухой голос негромко, словно сам себе, пробормотал:

– Вернулся... Видно такой уж день, что все собираются. – Глаза открылись. Теперь они смотрели Марте в лицо. – Явилась. Брюхо под самый нос. Куда тебя, курицу голландскую, принесло? Нешто не слыхала про Аникея? Сгинул мой муж. И нас всех погубил.

– Сачем он? – спросила Марта. – Против царский маестат сачем? Обиделся на царь-патюшка?

Это она вспомнила слова отца Иоанна – про то, что лейтенант-колонел обиделся на его величество за ссылку.

Агафья Петровна ответила трудно, Марте не все было понятно.

– Аникей не из обидчивых. В начале июня было от него тайное письмо. Писал мне, что поведет стрельцов на Москву царя Петра гнать, царевну Софью с Васильем Голицыным назад сажать. Я, писал, Петра на трон посадил, я его и скину. Он-де, Петр, задумал Русь сделать Голландией и, если ему не помешать, то Русь в Голландию все равно не обратится, но Русью быть перестанет.

– Голландия – хорошо, – сказала Марта. – Почему нет?

– Коли хорошо, там и сидела бы. А мой Аникей знал, что говорит и делает! – окрысилась свекровь. – Если б его в бою первым же ядром не убило, была бы сейчас в Кремле царевна Софья Алексеевна, а Петр, чертушка, остался бы на вашей басурманщине. Да видно дьявол ему пособил. Пробило моему Аникею грудь, и стрельцы разбежались. Потому такие сейчас на Руси времена, что сила у Сатаны...

Отец Иоанн учил, что, произнеся или услышав имя Врага Божьего, русский человек, коли он в своем уме, поскорее крестится в обережение от Лукавого, и Марта перекрестилась, а свекровь не стала. Наверное, она была не совсем в уме, потому что и разговаривала, и вела себя странно.

– Где Родье?

Агафья Петровна криво, одной половиной рта улыбнулась, и эта гримаса тоже показалась Марте безумной.

– Не разглядела, когда входила? Пойдем, покажу.

Подняв факел, вышла за ворота. Посветила налево.

– Это вот супруг мой Аникей Маркелович. Четвертый месяц тут.

Марта закричала, увидев кол с торчащей наверху полуистлевшей головой.

– Видишь, табличка внизу: «Вор и злодей». Снимать голову не велено...

Посветила справа.

– ...А вот и Родя мой... Наш.

На воротном столбе висело узкое тело. Отсвет пламени упал на скорбное, страшно изменившееся лицо, на спутавшиеся волосы, в которых белела седая прядь.

– Привезли нынче на телеге из Преображенского. Говорят, на дыбе издох. Повесили рядом с отцом и тоже до особого указа хоронить запретили. Говорю же: такой день, что все собрались...

Опершись о ворота, Марта пыталась дышать. Широко разевала рот, но воздух в горло не входил.

А якутка всё говорила – спокойно, раздумчиво, глядя на свой пылающий факел.

– Москву эту поганую спалю. В сарае у меня сено, повдоль забора тож накидала. Ветер хороший, сильный. Подхватит. Пускай, тошнотная, вся дотла выгорит. Жалко только Кремль из камня...

Но смутных, сумасшедших этих речей Марта не понимала и не слышала. В ней что-то происходило. Что-то неостановимое и страшное, разом заслонившее весь остальной мир.

– Matje! – провыла Марта, хоть своей матушки и не помнила. – Matjeeeee!!!

– Э, баба, да из тебя уже полило, – сказал где-то далекий голос. – Обопрись, обопрись! На крыльцо тебе не взойти. До конюшни хоть, на сено...

Сильная рука взяла под локоть, другая обхватила за бок, и повела куда-то, потянула. Марта ничего не видела, не слышала, вся сосредоточенная на происходившем внутри нее.

И потом была будто не в себе. И когда орала, и когда задыхалась, и когда кусала кулак. Взгляд безмысленно шарил по дощатому темному потолку, по бревенчатым стенам, выхватывал не имеющие значения куски: сосредоточенное

скуластое лицо; трепет пламени; лошадиную морду с влажными глазами; хомуты, упряжь.

Долго это длилось, нет ли, Марта не знала. Но вдруг стало легко, и отпустило грудь.

Удивленно мигая, Марта уставилась на маленькое, круглое, откуда-то появившееся перед самым ее носом.

– Гляди – девка. И родинка на лбу. Ихняя порода, трехглазовская... На, на. Покорми... Да не так!

Сев, Марта приложила младенца к груди. Он сам знал, что ему надо. Легонько тянул, чмокал.

– А только не будет больше Трехглазовых, – вздохнула Агафья. – Кончились...

Она и потом всё что-то говорила, но Марта поняла лишь обращенный к ней вопрос:

– Как дочку назовешь?

– Не снаю...

Марта растерялась. Она не сомневалась, что будет сын, похожий на Родье. А дочь – зачем дочь? Чтоб получилась, как мать? Нет, этого не надо.

– Вот дура! Мать твою как звать?

– Катарина.

– Что ж, Катерина – имя хорошее. Как дитя держишь, горе голландское? Чему у вас там девок учат?

Отняла ребенка, показала.

– Да, да. Понятно, сама.

Марте не терпелось забрать дочку обратно.

– Что же мне с тобою делать? Куда деваться? – Свекровь вроде как спрашивала, но никакого ответа не ждала, разговаривала сама с собою вслух. – Завтра со светом соседушки пожалуют, дом грабить. Раньше-то боялись – вдруг царь Родю помилует. Ныне поймут: можно...

Дитя тихонечко сопело, никак не могло насытиться.

– Катерина, Москвы спасительница, – сказала крохотной девочке Агафья. – Не стану из-за тебя город поджигать, хотя надо бы. Я как думала? – Это она обратилась уже к Марте. – Запалю пожар, полюбуюсь немножко и в лес уйду. Лесом можно хоть до Катая дойти. Лес и укроет, и накормит. Я к нему сызмальства привычная. Но с вами двумя в лесу не проживешь. Дорогой тоже не пойдешь, больно мы с тобой приметные – одна раскосая, другая вовсе нерусская, еще и с дитем.

Наверное, женщина давно ни с кем не разговаривала, а теперь все не может остановиться, подумала Марта и помотала головой: половины-де не понимаю.

– Пойдем в дом, поспи немного на кровати. Умаялась ты, а и обмыть тебя надо.

Это Марта поняла и снова покачала головой, решительно.

– Не хочу дом. Лучше здесь.

Объяснить почему не хочет, она затруднилась бы, но Агафья сделала это сама:

– Поди, воображала, как будете там с Родей жить? Я тож там боле не могу. Стены тишиной давят... Ладно, тут полежи. Поспи. А я пока подумаю.

Укрыла мать и младенца шерстяным платком, сняв его с плеч.

* * *

А в следующее – так показалось – мгновение уже снова теребила Мартино плечо.

– Эй, эй! Будет спать. Уходить надо.

Был, однако, уже рассвет. Марта огляделась.

Большая конюшня. Шесть хороших лошадей, нарядная коляска, красивые зимние сани. Но потом перевела взгляд на спящую дочку и ни на что другое уже не смотрела.

Девочка была не огненноволосая, как мать, а черненькая – в отца, это Марте очень понравилось. На лобике малюсенькое пятнышко, которое надо было поскорее поцеловать.

– После налюбуйся. Я уж и так дала тебе до самого света поспать, больше нельзя.

Свекровь стояла, одетая в длинную куртку дубленой овчины, обутая в сапоги, на голове войлочная шапка.

– Нарушила я царев указ. Аникея с Родей в саду закопала, сверху дерн положила, чтоб не нашли. А мы уходим. Пускай соседushки тащат что хотят. Эта жизнь кончилась.

– Кута уходим? Талеко? – спросила Марта садясь. Внизу живота было больно, особенно не расходишься.

– К старцу пойдём.

– К старик? Какой старик?

– Не старик, а старец. Про староверов слышала?

– Да. Отец Иоанн коворил. Вот так телают, неправильно. – Марта перекрестилась двумя пальцами. – А надо вот так, три палец. Сачем староверы?

– В Москву с севера приходят старцы, спасать людей, кто от старой веры не отошел. Зовутся такие старцы «кормщики», это кто корабль по морю ведет.

Схеепслоодс, догадалась Марта.

– Живут «кормщики» на Москве тайно, набирают свой «корабль», душ пятнадцать или двадцать. Когда наберут – уводят обратно, на север. Сейчас много стрелецких вдов, которые, как я, жить здесь больше не хотят, да и не на что. «Кораблей» много уплывает. Слыхала и я про одного старца, Авениром зовут. Прикинемся староверками, уйдем подальше, а там видно будет.

Посмотрела Агафья на старательно мигающую невестку, вздохнула: какая из нее, рыжей немкини, староверка?

– Ты вот что, баба, ты все время молчи. Будешь немая. Я сама со старцем говорить стану. Креститься двоеперстно умеешь, и ладно. А одежду я тебе собрала. Раздевайся. Заодно погляжу, каково ты нарожала...

Обмывая и потом укутывая рожалое место, Агафья что-то недовольно бормотала и качала головой.

– Ох, неладно... Попадем в ихний схрон, отлежишься. «Корабль», Бог даст, не прямо нынче уйдет. Что это у тебя на шее? Крестик долой, потом добудем старый. И образок «Нечаянной Радости» не гож, он никонианского письма. А это что за кругляш?

– Amulet. Talisman. Для счастье и спасение.

– Оберег что ли? Не любят они этого, бесовским вредоверием называют.

– Не отдам! – Марта прикрыла орешек ладонью.

Так и осталась без креста и без радости, но с Буддой.

Одела ее свекровь в русское, теплое, черное. Рыжие волосы собрала, укутала черным же платком. Сказала: «Ты ныне вдова, твой цвет вдовый». Девочку завернула в мягкую овчину.

– С конями попрощаюсь, и пойдём.

* * *

Шли они небыстро, потому что Марта широко расставляла ноги и через каждые сто шагов просила немножко постоять, а если было на что – садилась.

Агафья рассказывала ей про покойного мужа, мало заботясь, понимает слушательница или нет. Для себя говорила, не для невестки.

– ...Мой Аникей был твердый. Будто камень. Тверже я никого не встречала. И страха в нем совсем никакого не было. Не умел бояться. За то Петрушка, бес, его и не любил, хоть обязан Аникею своим царством. Петрушка сам вертлявый, он каменных не выносит, а бесстрашных страшится. Но я к Аникею не за его твердость приросла. Хочешь расскажу? А ты мне после расскажешь, как приросла к Роде.

«Приросла» это *verliefd*, перевела себе Марта. Кивнула:

– Да, очень хочу.

– Жили мы в лесу. Отца у меня не было, его медведь сломал. Братьев тоже не было. Охотиться приходилось нам, мне и сестре, потому что мать хворала. Я хорошо охотилась, у нас всегда еда была. И меха много – менять. А однажды, в лесу над Улахан-Юрях, это река такая, большая, столкнулась в лесу с русским казаком. Это я подумала, что он казак. У нас там русские только казаки были, почти все плохие, разбойные люди. Мы, якуты, скоро сто лет христиане, а казакам все равно. Грабили нас, насильничали. Еще русские бывали купцы, эти получше, они не грабили и не насильничали, а только обманывали, но тот, кого я встретила, на купца был непохож. На боку сабля, за кушаком малое ружье (так мы пистолы называли), и лицо некупеческое, твердое. А я девка, одна, шестнадцать лет мне. Но увидела его первая. Навела свой самострел, убить хотела. Думаю: хорошее оружие, хороший кафтан, хорошие сапоги. А что? Русские нас не жалели, мы их тоже.

– Почему не убила? – спросила Марта. Она понемногу начинала понимать лучше.

- Потому что он - давай смеяться, чуть не до слез. Как в смеющегося человека стрелять?

- Почему смеяться?

- Вот и я ему: «Пошто смеешься? Думаешь, коли девка, не попаду?» А он мне: «Не думаю. У тебя вон две белки на поясе, так неужто в здорового мужика смажешь?» - «Чего, говорю, тогда смеешься?» Он говорит: «Смешно. Сколько раз гадал - какая мне на роду смерть написана? От железа? От свинца? От болезни-лихоманки? На плахе под топором? В степи под бураном? А что меня птичка-снегирь клюнет, не думал. Не смешно ли?» А я, молодая, на лицо еще круглей нынешнего была, щеки у меня от холода малиновые, шубейка меховая - как есть снегирь. Тоже засмеялась. От того смеха сразу к нему и приросла. На всю жизнь.

Захотелось и Марте про своего мужа хорошее сказать.

- Родье тоше веселый был.

- Нет, Аникей веселый не был. Редко смеялся. Только когда со мной...

И Агафья надолго замолчала. Не до разговоров было и Марте, вся ее сила тратилась на ходьбу.

Вышли к большой, но сильно облупленной церкви, где на паперти рядком сидели, жалобно гнусавили нищие. Свекровь подошла к одному, совсем еще подростку, с белыми бельмами на глазах. Нагнулась, пошептала.

Тот кивнул, поднялся.

Пошли с ним.

Слепой сказал, что звать его Минька, а прочего Марта не поняла, очень уж быстро он тараторил. Узнав, что одна из баб немая, мальчик развеселился.

- Я без глаз, она без языка. Немая да слепой каши не сварят.

«Каша» - это теелрар, вспомнила Марта. И очень захотелось есть.

- Э, да ты еще и колченогая, что ли, тетка? - спросил Минька, потому что она все время отставала. - А пищит у тебя что?

Агафья объяснила про новорожденное дитя.

- Подохнет в дороге, - сказал паренек, - но это воля Божья.

Слово *podokhnet* Марта не знала и не встревожилась.

Они шли через широкое пустое место, рассеченное полосой кустарника. Там, кажется, протекала маленькая речушка или, может, ручей. Свекровь оглянулась назад и процедила что-то короткое, злое.

Слепой рассмеялся:

- Эк ты, тетя, по-жеребиному-то. Гляди, старец такого не любит.

- Идет за нами кто-то. Я еще у церкви заметила. Не преображенский ли? - ответила Агафья, и мальчишка смеяться перестал.

- По улице шли - прятался, а тут негде, - продолжила свекровь, больше не оборачиваясь. - Ну-ка, проверим. Отстанет иль нет? Марфа, наддай!

Взяла за руку, потянула, и Марта поняла: нужно идти быстрее.

Полушагом, полубегом добрались до кустов. Те расступились, пропуская тропу, и показался узкий мосток, под которым журчала высокая и темная октябрьская вода.

- Шпынь это! Беда!

Spion!

Вдали, на поле, маячил тощий, длинный человек в заломленной шапке. Видно, он сообразил, что разгадан. Повернулся к домам, свистнул в два пальца, что-то крикнул. Оттуда, от заборов, выскочили еще двое, оба в синих кафтанах, с

саблями.

– Что там, тетенька? – спросил Минька.

– Бери Марфу за руку, бегите. Я преображенских малость подержу.

Агафья повернулась назад, стоя посередине мостка. Правую руку держала за спиной. В руке – невесть откуда взявшийся нож.

– Беги, дура! Чего встала? – рыкнула она на невестку.

И Марта побежала, одной рукой держась за Миньку, другой прижимая младенца.

Люди, которые убили мужа и свекра, теперь хотели сделать плохое и им с матушкой, это-то было ясно.

Бежалось трудно. Каждый шаг отдавался болью, слепой спотыкался, несколько раз чуть не упал. Впереди снова начинались заборы. Прежде чем их достичь, Марта обернулась дважды.

В первый раз увидела, как человек в заломленной шапке хватается Агафью за плечо, а потом с воплем падает в воду.

Во второй раз, уже близ самых домов, посмотрела: свекровь пятилась по доскам, выставив вперед руку с ножом, а на нее, махая саблями, напирали синие.

– Тута... где-то... яма... Я раз в нее свалился...

Паренек задыхался, тыкал пальцем вправо. Марта увидела не яму, а канаву, заваленную мусором и по краю обросшую сухой, мертвой травой. Ясно: нужно спрятаться, потому что не убежать.

Помогла слепому спуститься вниз, а сама, из-за того что держала дочку, потеряла равновесие и упала на кучу гнилых отбросов. Как больно!

Но стонать было нельзя и некогда. Набросала всякой дряни на мальчика, зарылась сама.

Только распластались – топот.

– Зря ты ее зарубил! – говорил один бегущий. – Живьем надо было!

Второй крикнул:

– Она, стерва, Хрипуна насмерть положила!

Младенец пискнул, но те, слава богу, из-за бега и пыхтения не услышали, а Марта поскорей зажала маленькое личико ладонью.

Шаги удалились, но Минька шепнул:

– Лежим, баба. Они тут теперь долго шастать будут. Шутка ли – шпыня преображенского порезали. Терпим дотемна. Раньше вылезать боязно.

Что надо оставаться в канаве долго, до темноты, Марта поняла и кивнула. Лежать – это хорошо. Бежать и даже идти ей было бы трудно. По ногам текло горячее и всё не прекращало. Она оторвала от платья рукав, запихнула вниз.

Хотелось спать. Марта прижала к себе ребенка – с ним было теплей. Начала задремывать. Уснула.

Разбудил ее толчок в грудь – болезненный из-за накопившегося молока. Слепой не видел, куда тычет кулаком.

– Эй, немая! От тя кровяной несет, всё шибче. Ты это, не помрешь тут?

Было очень холодно. Никогда еще она так не мерзла. Зубы стучали, пальцы одеревенели. Рукав под юбкой был весь мокрый.

И уже смеркалось. В северной стране октябрьские дни короткие.

– Один из тех давеча мимо прошлепал. Бормотал матерное, я голос узнал. Всё ищут. Темно уже или как? Ты кивни.

Коснулся рукой ее лба. Марта немного наклонила голову.

– Тогда пойду. Отсюда недалече. Кого-нито приведу с «корабля».

Она полежала еще, мерзла теперь меньше, а сон все наплывал, тянул за собой. Марта покормила дочку, клюя носом. И сразу потом уплыла. Ей снилось ночное море, наверху звезды, и всё хорошо. Вода холодная, но мягкая, словно перина. Тонешь в ней, тонешь, а дна нет и нет.

Так потом толком и не проснулась. То выныривала, то снова погружалась в мягкое.

Куда-то ее вели в темноте, с двух сторон взявши под руки. Приговаривали:

– Тихонько, милая. Тихонько, убогая.

После зажегся огонек.

Стол, на нем свеча, в озаренном круге бородатое лицо. Седой, но нестарый мужчина, читал вслух по книге загадочное, еще более непонятное из-за того, что шепелявил. В черном рту белел единственный зуб. Чародей, сонно подумала Марта.

– ...А в се лето от сотворения мира семь тыщ двести шестое возымел Антихрист облую силу, поселился в царском тереме и стал творить на Москве что ему восхотелось, и мнози погибоша, а иные мнози устращась зашаталися и отдалися рати сатанинской, погубив души своя. Но быша и те, кто, подобно спутникам праотца Ноя, погрузились на ковчеги непотопленные и пустились по волнам к Северной Звезде, чая мира и спасения...

– Авенир, – сказал женский голос. – Стрельчиха немая отходит. Белая вся, крови в ней не осталось.

– Завидуйте. Скоро будет с Господом, – сурово ответил чтец.

– Как хоть звать ее? И дите. Кого поминать? Спознать бы.

– Как же спознать, коли она немая?

И снова Марта уплыла в синюю глубь, а вынырнув, увидела бородатого совсем близко над собой.

– Ты слышать-то слышишь?

Кивнула.

– Тебя как звать, раба Божья? За кого отходную читать? Ты ведь не из простых? Вон, телогрея у тебя беличья, сапожки сафьян. Может, ты письму обучена?

Она опять кивнула. Даже легкое это движение давалось с трудом.

– Эй, бумаги листок! Грифель!

Перед лицом у Марты возникла желтоватая поверхность. Кто-то согнул ей руку в локте, сунул стерженек.

– Пиши имя, отчество.

Еле-еле, криво вывела: «Мар?а». И рука упала.

– Ничего, хватит имени. Помянем рабу божью немую Марфу. А дочку покрестить успела?

Покачала головой.

– Ничто, покрестим. А там пускай и помрет, уже не страшно.

– Спроси, Авенир, как дочку назвать, спроси, – донеслось откуда-то.

– Напиши, как дочь наречь. Имя какое дать?

Очень медленно, большими буквами, белые пальцы вывели на листке «Ката» и разжались.

Рука опустилась, грифелек выпал.

Толмач Буданов

Санкт-Петербург. Третий год эры Праведной Добродетели

Старшего толмача Посольской канцелярии Буданова с утра вызвали в Преображенский приказ. Начальник сказал: «Они иноземца какого-то взяли, допрашивать будут. Ты, Артемий, перевод гаагской мемории пока отложи и не мешкая ступай на Троицкую. Сам знаешь, преображенские ждать не любят».

Буданов был к таким делам привычный. В грозном приказе его ценили за трезвость, старательность и неболтливость. Что бы он там ни увидел, что бы ни услышал, нипочем не разнесет.

Взял Артемий тетрабочку, свинцовое писальце, надел тертую треуголку, накинул суконный плащ и пошел себе, благо дорога недлинная. Преображенский приказ находился здесь же, на Городском острове: пройти от Набережной линии меж присутствиями и гвардейскими казарнами, у деревянного Свято-Троицкого храма повернуть налево – и вон они, полосатые черно-белые ворота с караульней.

Три года назад, когда Посольская, тогда еще Походная канцелярия переехала из Москвы, здесь повсюду были строительные ямы да леса, а ныне уже становилось похоже на город. Поговаривали, что готовится указ – объявить Санкт-Петербург

столицей. Поверить в такое было трудно, хотя при государе Петре Алексеевиче удивляться все давно разучились.

Главные стройки теперь шли на той стороне большой Невы и на Лосином острове, а тут, в центре, стало прилично, чисто, две главные улицы даже замощены – по позднеосенней слякоти отрадно.

Буданов хоть и торопился, однако пошел не напрямки, а углом, чтоб получилось дощатыми тротуарами, без грязнения башмаков. Толмач был невысок и коротконог, но шагал споро. Пять минут спустя был уже на месте. Назвался дневальному служителю, спросил, куда ему. Был направлен в четвертую пытошную, в распоряжение дознавателя Семена Гололобова. Буданов вздохнул (не любил, когда пытаются), но делать нечего, отправился.

Гололобов сидел на крыльце пытошной избенки, курил трубку.

– А, – сказал, – здорово, Буданов. Всё шуришься?

И засмеялся. Он эту шутку с Артемием всегда шутил. Семен был из старых преображенских подьячих, в свое время еще мятежных стрельцов на дыбе ломал. Сам князь-кесарь Ромодановский его знал и помнил. Завидев, всегда говорил: «А-а, губастый, не подход еще?» Гололобов этим гордился. Нижняя губа у него, правда, была вислая, мокрая – он часто, особенно в возбуждении, ее облизывал.

– Кого допытывать будем? – спросил Артемий, пожимая знакомцу руку.

– В гостинице «Виктория» остановился приезжий мекленбуржец, якобы по торговому делу. Нумерной слуга, из наших доводчиков, как положено, стал в вещах рыться – нашел листок, писанный непонятной цифирью. Есть подозрение, не шпион ли.

– Мекленбуржец по-немецки говорит, а я немецкого не знаю, – удивился Буданов. – У меня голландский и шведский. Забыл ты?

– Мекленбуржца мы не трогали. Он из Любека кремни пистольные на продажу привез. Вдруг правда купец? Государь осерчает. Взяли пока слугу. Он

голландец, звать Адрияном. С ним и потолкуем. Расспросим про хозяина.

– После того как ты потолкуешь, он калекой станет. А вдруг зря заподозрили? Как такого возвращать будете?

– Никак. Пропал человечешко, и ладно. Велика ль важность? Купец другого слугу наймет.

Больше про это Артемий спрашивать не стал. Знал, как работают преображенские.

– А что ты тут посиживаешь? Где голландец-то?

– Там. – Семен кивнул на дверь. – Привязали к лавке под дыбой. Пусть пока полежит, потрясется. Говорливей будет. Все равно без толмача его не поспрашиваешь. Ладно. – Поднялся. – Идем, что ли.

...На грубой скамье, лицом кверху лежал прихваченный веревками человек, по пояс голый. Был он сильно рыжий, того огненного оттенка, который встретишь только у голландцев, и то нечасто. Голова будто костер, а на груди словно рассыпана апфельцыновая кожура. Человек был бледен, на лбу испарина, выпученные глаза уставились на вошедших с ужасом.

– Сначала поговори с ним, как ты умеешь, – сказал Гололобов нарочно грозным голосом, свирепо скалясь на арестанта. – Может, без пристрастного допроса всё расскажет, как та шведская полонянка, метреска князя Репнина.

– Попробую.

Буданов взял табурет, сел рядом со связанным.

– Послушай меня, Адриаан, я тебе не враг. Этот человек будет тебя мучить, если не узнает то, что ему нужно. А хочет он выяснить, не шведский ли шпион твой

хозяин. Будешь запираешься, живым отсюда не выйдешь. Виноват, не виноват – изломают, обожгут огнем, а потом мертвое тело кинут в болото.

– Я ничего не знаю, минхер! – дрожащим голосом пролепетал слуга. – Господин Штаубе нанял меня перед самым отплытием! У него заболел лакей. Господин Штаубе переманил меня у прежнего хозяина, купца Ханса Ван Нотена, потому что увидел, как хорошо я чищу платье. А что он за человек, господин Штаубе, и правда ли купец или еще кто, я знать не знаю, клянусь вам! Пожалуйста, поверьте мне!

– Я что? Я переводчик. Надо, чтобы следователь тебе поверил, – объяснил Артемий. – И если ты будешь твердить, что ничего не знаешь, висеть тебе на дыбе. Лучше наври ему что-нибудь. Скажи, что служишь купцу недавно, но его поведение и тебе кажется странным. Мол, встречается с какими-то людьми, шушукается непонятно о чем. Предложи за хозяином шпионить и всё докладывать. Тогда пытаться не будут.

– А что будет потом? Они же меня в покое не оставят! – всхлипнул слуга.

– Проберись на какой-нибудь корабль и уноси отсюда ноги. А господина Штаубе предоставь его собственной судьбе.

Голландец был хоть и до смерти напуганный, но неглупый. Хороший совет принял, всё, что нужно, сказал – Буданов еле успевал чиркать в тетрадочке писальцем, чтоб ничего при переводе не упустить.

Гололобов остался очень доволен, Адриаана расцеловал, выдал шкалик водки и полтину денег. Переманить вражьего шпиона у преображенских считалось великой удачей.

Потом, уже без голландца, Семен еще долго не отпускал благодетеля. Достал закуску, сделался говорлив.

Водки Буданов пил мало, только для виду. Терпеливо ждал, когда можно будет уйти, не обидев. Думал: скоро ль закончится эта добука.

А это была не добука. Оказалось, что это долгожданный просвет в лабиринте, которым толмач Посольской канцелярии проблуждал пятнадцать лет и из которого уже не надеялся когда-либо выбраться. То есть надеяться-то, конечно, надеялся, но рассчитывать не рассчитывал.

Через полчаса похвальбы и гаданий о будущей награде раскрасневшийся от водки Гололобов сказал:

– Волос-то у Адрияна какой, а? Огонь. Сколько лет на свете существую, а допрежь только один раз такой видывал. И то не у живого человека.

– Как это не у живого?

– У покойницы. После стрелецкого бунта ловили в Москве одного бесараскольника, который на север стрельчих уводил. Накрыли ихний схрон в Огородной слободе. Поздно только, людишки все разбежались. Осталась лишь одна баба, мертвая. Волосищи – как у этого, в тот же цвет. Разметались по полу, будто жидкий огонь. А на груди у мертвой бабы пищит младенец, живой. Жуть! Чего я только на службе не повидал...

Выпил, крякнул.

– Куда младенца дели? – рассеянно спросил Артемий, думая о своем.

– На кой он нам? – удивился преображенец. – Там и оставили... Дикие они, раскольники. Вот у тебя на груди крест висит, так? У меня тож. И у всех. А у бабы мертвой знаешь чего на шее было? Орех на нитке, ей-богу. И на нем, на орехе, человечец вырезан. Тьфу, пакость!

Узкие глаза Буданова вдруг стали расширяться, редкие брови поползли вверх, ко лбу, посередине которого темнела большая точка, все принимали её за родинку.

Сразу же после того толмач зажмурился, ослепнув от лучезарного света кармы.

Удивления не было. В глубине души Артемий знал, что когда-нибудь это произойдет. Придет нужное время – и случится. Потребны лишь терпение и твердость духа. Того и другого в Буданове было достаточно.

– А как беса звали, которого ты тогда ловил? Помнишь? – тихо спросил толмач.

– Старец Авенир. Так и не поймали его. Увел-таки своих куриц на погибель. Ох, упрямые они, раскольники. Намертво держатся за свое пустоверие, за отсталость, за убогую скудость. Вот посмотреть на ихние молельни и на наши православные храмы, а? Иль сравнить ихних рваных проповедников и наше священство. Даже ты, азиат, японец, и то понял, что православная вера лучше, а они русские, но не понимают. Скажи, хуже тебе стало, что ты покрестился?

– Лучше. Мне очень хорошо, – искренне ответил Буданов.

– То-то. И служба тебе государева, и кормление, и почет, не говоря о спасении души. Японец – и тот понял! А они, дурни – никак.

Артемий встал.

– Пойду я. Благодарствую за угощение.

– Ага. Ты странички из тетрадки, где записывал, вырви и отдай. Сейчас, при мне. Сам знаешь – порядок. А завтра сызнава тут будь. Надо еще шведа одного пленного поспрашивать.

– Приду, куда ж я денусь, – кивнул Буданов, хоть знал, что его толмаческая служба окончена.

* * *

На квартире, которую он делил с младшим толмачом той же Посольской канцелярии Яковом Иноземцевым, Артемий снял парик, почесал перед зеркалом круглую, гладко бритую голову, помял мясистые щеки. Торжественно-приподнятое настроение, которое всякий раз охватывало Буданова при соприкосновении с Чудом Пути, не мешало думать, прикидывать дальнейшее.

Собственное лицо – широкое, неопределимого возраста, узкоглазое, да еще голое, нисколько не русское – Артемию не понравилось. Оно сулило лишние трудности. Впрочем ему было не привыкать. Впереди зима, думал он, макушку можно прикрыть шапкой, а к весне нарастет щетина. Появится и какая-никакая,

пускай жидкая бороденка. С глазами ничего не сделаешь, но мало ли сейчас по Руси бродит всякого окраинного люда, сметенного с исконных мест царскими замыслами? Башкиры, татары, калмыки, ногайцы.

– Ухожу я, – сообщил Буданов сожителю, когда тот вернулся со службы. – Путь долго петлял, водил меня кругами, но наконец распрямылся. Появился след. Хоть и старый, но это лучше, чем никакой. Пойду по нему. Будь за меня рад.

– Я рад, – сказал Яша, и по его свежему, юному лицу потекли слезы. – Значит, нам пришло время расставаться?

Иноземцев раньше был швед, ротный гобоист в Уппландском гренадерском полку короля Карла. Тринадцатилетним попал в плен под Переволочной. Буданов забрал к себе подростка четыре года назад, во время триумфального парада в честь Полтавской виктории, когда через Москву гнали десять тысяч шведов. Артемий тогда получил от канцлера графа Головкина грамотку, по которой мог взять любого нижнего чина из пленных в учителя шведского языка. С голландским в канцелярии работы было не так много, а переводчиков со шведского не хватало. Старший толмач думал отобрать кого-нибудь зрелого, с развитым, мыслящим лицом, но в конце концов пожалел трясущегося от холода мальчишку с деревянной дудкой в руке.

Ничего, научился и у мальчишки, языки Буданову давались легко. А Якоб так же быстро выучился по-русски, покрестился в православие и тоже поступил на службу. Имя ему оставили почти такое же, поменялась только одна буква, а фамилию дали «Иноземцев», потому что в канцелярии было уже два Шведовых: Шведов-первый и Шведов-второй.

Кроме русского языка парень обучался у Артемия и другим знаниям, еще более важным. Например, долго не предаваться унынию.

Поэтому слезы он почти сразу вытер и попросил за них прощения. Буданов уже знал, что последует дальше.

– Учитель, ты ведь вернешься?

– Вряд ли.

– Тогда позволь пойти с тобой.

Артемий укоризненно покачал головой.

– Это мой Путь, не твой. Чему я тебя учил?

– Мысль о расставании мне невыносима, – тихо сказал Яша.

– Я останусь с тобой вот здесь. – Старший толмач легонько постучал младшего по лбу. – А все остальное иллюзия. Забыл?

Он быстро собрался в дорогу, и четверть часа спустя уже был у переправы через Неву, чтобы потом по Большой Перспективе попасть на Новгородскую дорогу.

Жизнь, в которой этот человек звался Артемием Будановым, завершилась.

* * *

Самое первое свое имя, из раннего детства, он забыл. Вообще ничего из той поры не помнил, лишь какие-то смутные, словно выплывающие из туманной зыби видения: большое женское лицо, напевающее песенку с непонятными словами; ощущение своей крохотности на морском берегу; вечное голодное подсасывание под ложечкой. Это был сон бессмысленный, рассветный, когда разум еще очень далек от пробуждения. Зачем помнить всякую чепуху?

Следующую жизнь, под именем Петруса Аапа, следовало отнести к разряду кошмаров. Мальчишка-сирота попал в голландскую факторию, тогда еще находившуюся в его родном городе Хирадо, и служил там прислугой за всё, осыпаемый затрещинами и подзатыльниками, юркий, вечно готовый забиться в щель, как мышь, или вскарабкаться на ветку, как мартышка. Прозвище «Аап», собственно, и означало на языке чужеземцев «мартышка».

Просыпаться он начал только на тринадцатом году жизни, когда попал в Храм, где таких новичков учили смотреть, слышать, думать, чувствовать – готовили к поискам Пути. В это время подросток носил временное имя Докю, которое и определяло его тогдашнюю суть: Взыскующий Пути.

Еще несколько лет спустя Путь определился. Склад личности, природные качества и внутренние устремления позволили юноше войти в число немногих избранных. Он стал Хранителем и получил новое, теперь уже настоящее, вечное имя Симпэй, Истинный Воин. Иероглифом ?, «воин», заканчивались имена всех Хранителей, и в знак того, что это прозвание пожизненное, другого уже не будет, оно татуировалось на лбу – так мелко, что непосвященным надпись казалась родимым пятном. Точно такой же знак был на челе у Курумибуцу, Орехового Будды, которого Симпэй и его братья оберегали от зла, прежде всего от «вторых», тысячу лет зарившихся на священную реликвию.

Но не того следовало остерегаться. Всё зло в жизни не от врагов, которые существуют лишь для того, чтобы испытывать и закалять твою силу, а от попутчиков, не удержавшихся на Пути. Это вообще самое страшное и печальное, что может произойти с человеком: увлечься химерой и свернуть со своей дороги.

Преподобный Дораку, блюститель Семи Покровов, единственный монах обители, который имел постоянный доступ к реликвии, поскольку совершал перед ней еженедельный обряд Воскурения Ароматов – в благоговейном уединении, за сомкнутыми дверями, – увлекся ярким, но пустым сном. Кто мог ожидать, что этот умудренный, тихий, просветленный человек способен на подобное? Конечно, у всякого бывают соблазнительные сонные видения, от которых не хочется пробуждаться, бывали они и у Симпэя, но чтобы целиком уйти в химеру, отвергнув Путь? Невообразимо! И тем не менее это случилось.

Другая жизнь поманила монаха Дораку своей неиспытанностью. Он испугался, что умрет, так и не изведав ее радостей. Стал жадно вкушать их – и ушел в них весь. Однажды, когда пришло время очередного воскурения, преподобного Дораку не смогли нигде найти. Открыли Покровы и увидели, что Курумибуцу под ними нет.

Вины Симпэя тут не было. Хранители обучены охранять реликвию от внешней угрозы, а не от измены – ведь за тысячу лет ничего подобного ни разу не бывало. Но вина – это когда ты сам себя считаешь виноватым, даже если другие тебя ни в чем не винят. Симпэй знал, что повинен в слепоте. Из-за этого он провалил свой долг, подвел Храм и предал Курумибуцу, Орехового Будду.

Резкий поворот судьбы не означает, что твой Путь прервался – лишь что он меняет свое направление. Симпэй понял: его миссия – найти и вернуть утраченную святыню, даже если ради этого придется обойти всю Японию.

Оказалось, однако, что дорога будет длинней, чем представлялось вначале. Намного, почти невообразимо длинней.

След Орехового Будды со временем отыскался, загадка исчезновения разъяснилась.

Однажды Симпэя вызвал отец-настоятель и объявил, что заблудившийся в пустых снах Дораку передал реликвию не «вторым», как подозревалось ранее, а голландским варварам, что живут на острове в Нагасаки. Но Орехового Будды там уже нет. Помощник главного голландского купца Ванау-торуно увез Курумibuцу-саму на корабле в свою далекую страну, на другой конец света. Варвары рассчитывают получить за реликвию торговые привилегии от сёгуна, но нельзя допустить, чтобы Ореховый Будда оказался в руках у низменной земной власти.

Еще не дослушав рассказ святого старца, Симпэй понял, почему избран из числа Хранителей и что от него потребуется. В детстве и отрочестве, прожив несколько лет среди голландцев, он выучил их квохтающий язык, обычаи и молитвы.

– Твой Путь будет долог, извилист и труден, – сказал настоятель. – Но кроме тебя пройти его некому. Найди и верни Курумibuцу-саму. Это завидная миссия. Даже если ты ее не выполнишь.

* * *

Так он на время перестал быть Симпэем.

Новое имя – Тимм Япанер – он получил на голландском корабле, куда пробрался тайком в Нагасаки. Такое иногда случалось. Подданные микадо, скрывающиеся от правосудия или кровной мести, а иногда просто одержимые жаждой увидеть мир за пределами Закрытой Страны, вплавь добирались до готовящегося к отплытию судна, карабкались по якорной цепи и прятались в трюме. В открытом море, вдали от японских берегов, можно было вылезти из укрытия. Рук на кораблях всегда не хватало.

Флейт «Синт-Иеронимус», несущий на грот-мачте гордый флаг Ост-Индской компании, шел домой девять месяцев, с заходом в Батавию, Индию, в огиб Африки. Времени было довольно, чтобы вспомнить подзабывшийся язык, привыкнуть к странному миру других отношений и взглядов, а главное – поразиться широте и многообразию мира Будды. Ровно настолько же богаче и разноцветней стал мир самого путника.

Ко времени прибытия в Амстердам команда флейта на две трети состояла из азиатов и негров, Тимм Япанер считался в ней старожилым и поднялся до обермаата, а перед сходом на берег капитан даже предложил ему в следующем плавании место боцмана и хорошую долю прибыли.

«Спасибо, минхер, я подумаю об этом», – сказал Тимм, хотя думал в этот миг, конечно, совсем о другом.

Выяснить, где проживает бывший фицеопперхофт Дэдзимской фактории, а ныне бевиндхеббер Хендрик Ван Ауторн, было легко. Два дня Тимм провел около узкого, высокого дома на Господском канале – наблюдал, как там и что. Убедился, что хозяин не в отъезде, изучил привычки жильцов. На вторую ночь, когда дом уснул, вернулся в черном костюме и черной маске, чтобы сливаться с темнотой. Проник внутрь, осмотрел все помещения, никого не разбудив и не потревожив. Единственным местом, где могла храниться реликвия, был запертый хитрым замком сундук. Сундук прятался под кроватью, на которой храпел бевиндхеббер и сопела его супруга. На столике оплывала, покачивая огоньком, пузатая ночная свеча.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/ru/boris-akunin/orehovyy-budda>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)